



Дизайн автора

ГРУЗ

Ночь выдалась темная, ветреная, без звезд. То и дело принимался моросить дождь, но даже и без него щеки покалывало холодными крапинами все пропитавшей влаги. От огней с дальнего берега губы по невидимой черноте воды сжимались и вытягивались тонкие лезвия отражений. Было слышно, как внизу, под причалом, раздаются шлепки волн.

В середине ночи из-за высоких штабелей ящиков, где Панкин прятался от ветра, донесся стон и скрежет заработавшего крана. Началась погрузка. Пространство перед теплоходом было освещено прожекторами. Стремительно уходила вверх темная масса груза и, качнувшись, проваливалась в трюм. Светя фарами, с ревом выскакивали из темноты автопогрузчики и, освободившись, уносились за новой порцией груза. Панкин заглянул в огромную гулкую глубину трюма, на дне которого сустились люди, постоял возле ответственного за погрузку, который плавно выписывал рукой понятные крановщику команды, и двинулся назад, к надстройке, где из полураскрытой двери брезжил свет. Спросить про свои ящики он так и не решился. Спустившись по металлической лестнице, он оказался в просторной каюте, видимо, спальня, сплошь заставленной двухъярусными койками. Здесь было чисто и тепло, в добросовестно покрашенных масляной краской трубах мирно сипел пар, и Панкина сразу потянуло в сон. Он сел на пол и, прислонившись к теплой трубе, закрыл глаза.

Проснулся он оттого, что кто-то с грохотом спускался по лестнице. Панкин не успел вскочить — держась за перила, в каюте стоял, покачиваясь, плотный рыжий парень в голубом гражданском костюме. Задев койки, он пробрался к двери, которую Панкин и не заметил, и, прислушавшись, постучал. За дверью было тихо. Еще раз постучав, парень нетерпеливо подергал ручку и, невнятно ругаясь, исчез. За иллюминаторами каюты была все та же ночь, но теперь оттуда не раздавалось ни звука. Панкин пошел наверх.

Неподвижно высился поодаль кран, а трюм был уже закрыт и затянут брезентом. Панкин постоял на носу, глядя вниз на мерное шевеление черной воды, заглянул в огромную вентиляционную пасть, дышавшую нутряным домашним теплом и пошел вдоль борта. За стеклами ресторанчика смутно белели скатерти на столиках, над ними мерцали матовые шары плафонов. Кто-то шевельнулся внутри — вздрогнув, Панкин в следующий момент догадался, что это он сам отразился в зеркале на дальней стене.

Внизу из пригревшей его спальни каюты доносились голоса.

— Что он стучит, спать не дает, — говорил молодой женский голос. — Напился пьяный и ходит...

— Ты не бойся, ты спи, — отвечал мужской голос. — Я скажу Стасу, чтобы последил за ним.

В каюте возле открытой двери, в которую недавно стучался рыжий, Панкин увидел

девушку и двух мужчин. Они разом обернулись на его шаги, и он поздоровался.

— Доброй ночи, — не без иронии ответил один из них, сделав ударение на слове «ночи».

— Меня тут за грузом прислали проследить, — сказал Панкин. — До Гремихи.

— А, — протянул второй. — Это ты сопровождающий? А билет где?

— Вот билет, — Панкин полез во внутренний карман.

— Ладно, ладно, — остановил его первый и, обращаясь к девушке, сказал весело: — Вот и пассажир теперь у тебя! А сама спи.

— А где мне ложиться? — спросил Панкин, когда мужчины ушли.

— На любое место, — буркнула девушка, видно, не вполне удовлетворенная разговором. Она сердито откинула на спину длинные распущенные волосы и скрылась за дверью.

— Спокойно ночи, — сказал ей вслед Панкин, но в ответ только сочно щелкнул дверной замок.

На этот раз его никто не будил — открыв глаза, он снова увидел рыжего парня, стоящего возле знакомой двери. «Кто?» — раздалось из-за нее, и Панкин окончательно проснулся. Рыжий ничего не ответил. Покачиваясь больше прежнего, он нагнулся, пытаясь заглянуть в глазок замка, и бешено задержал ручку.

— Кто? — с той же унылой тревогой повторил голос девушки.

Парень упорно хранил молчание, словно наперед знал, что иначе не откроют.

Кровать под Панкиным скрипнула — парень, медленно выпрямившись, обернулся и нетвердо произнес:

— А это кто?

— Пассажир, — сглотнув, ответил Панкин. — У меня билет....

— Билет? — бессмысленно повторил парень. Он презрительно поморщился, снова подергал ручку, двинулся к лестнице и, поднявшись на ступеньку, молча погрозил Панкину пальцем.

Утро было солнечным. Ветер с дальнего промытого берега губы упруго, словно поторапливая, подталкивал в спину. Теплоход по-прежнему стоял у грузового причала, но теперь его борт поднимался высоко и торжественно — был прилив, и вместе с приливом в жизни Панкина как бы прибавилось смысла. С трудом, крепко хватаясь за поручни, он спустился на берег по почти отвесно вставшему трапу и побежал в город за сигаретами. Больше ему делать там было нечего и он с удовольствием вернулся на борт.

— А я думала, без вас отправимся, — встретила его горничная или как ее там — стюардесса.

— Без меня? — удивился Панкин.

— Думала, с морского вокзала сядете, как все пассажиры. Чемодан-то где ваш?

— Все мое ношу с собой, — сказал Панкин где-то слышанную фразу. Он с непонятной радостью смотрел на свою новую знакомую. Аккуратно подобранные вверх волосы открывали полную высокую шею медового цвета, широкие круглые плечи были туго обтянуты ситцем отнюдь не форменного, а домашнего платья, и вся она была крупной, сильной, совсем не такой, как показалась ночью... Ему хотелось понравиться ей.

После полудня теплоход отвалил от причала и вскоре пришвартовался к пирсу, за которым стояло светло-бежевое здание морского вокзала. Пассажиров было немного, но когда Панкин вернулся в каюту, все места были заняты, а проходы между койками завалены рюкзаками и чемоданами. Горничная переделалась во что-то официальное, да и сама стала другой, официальной, и как ни старался Панкин перехватить ее взгляд, чтобы хотя бы улыбкой подтвердить состоявшееся знакомство, она словно не узнавала его. Впрочем, какое там знакомство, если даже имени ее он не спросил...

Теплоход медленно разворачивался посредине Кольской губы — мелко, почти неуловимо, дрожал его корпус, и возле его кормы на темной воде вспухали белесые желваки.... Наконец мимо борта покатались ровные гряды волн, освещенный солнцем Мурманск, в несколько ярусов разместившийся по сопкам, стал неуклонно отступать, и только грузовые портовые краны, застывшие в позах провожающих, еще долго оставались на виду...

Затем солнце скрылось и сразу похолодало. Ровный серый полог туч затянул небо. Вода потяжелела и взъерошилась. У темно-серых голых побережных скал бело обозначилась полоса прибоя. На гладком островке, выступающем над водой словно днище перевернувшегося корабля, сидели бакланы. Один нехотя поднялся над стаей и полетел в сторону теплохода. Панкин подумал, что баклан не долетит, но тот быстро настиг теплоход и, сделав круг над мачтой, уныло закричал.

— Что, брат? — сказал Панкин и вздохнул.

Он считал, что жизнь его пока не задалась. Даже в армию его не взяли — из-за плоскостопия, хотя именно с армией Панкин и связывал начало своих перемен. Бывший детдомовец, жил он в общежитии, специальность свою — посыльного в морском пароходстве — естественно, специальностью не считал и никак не мог решить, на кого ему учиться.

В кают-компании шуршали газетами, усевшись в проваленные дерматиновые кресла, перелистывали журналы, кто-то, гремя фигурами в деревянной шахматной коробке, искал партнера, а спустя несколько минут уже яростно спорил, отказываясь возвращать «зевки». С наступлением темноты зажгли свет, убрали столы и стулья и объявили танцы. Панкин забрался в самый угол, отгородившись от танцующих двумя рядами стульев. Он предпочитал танго, особенно медленное, но танго в репертуаре радиоузла не было. Пригласить же кого-нибудь на танец он стеснялся. Его тоже никто не приглашал, хотя несколько раз объявляли белый танец, так что сердце подступало к горлу. Ему казалось, что «что-то такое» должно произойти само по себе, без его усилия. Что к нему подойдут, возьмут за руку и... Но ничего такого не происходило и теперь, и вообще, и в свои двадцать лет Панкин к стыду своему так и оставался девственником.

Перед каютой он столкнулся со стюардессой. Она деловито посторонилась, но Панкин встал перед ней:

— Там танцы...

— Ну и что? — подняла она на него глаза.

— Приглашаю, — набравшись смелости, сказал он.

— Чего? — усмехнулась она. — Не положено нам с вами танцевать.

Панкин бродил по палубам, пока не продрог. Танцы кончились, и по мертвенному мигающему свету за стеклами салона можно было догадаться, что теперь показывают кино. Наверняка, какое-нибудь старье... Вдалеке в сумерках за мутной завесой дождя медленно отступала скошенная глыба большого острова. "Кильдин", — догадался Панкин.

Начиналось Баренцево море.

Утро хорошо тем, что приобщает к новому ожиданию. Перед тобой мир еще не использованных возможностей. Легки ступеньки лестниц, приятны люди, и если ты улыбнешься, они без труда улыбнутся в ответ. Для Панкина подлинная, настоящая жизнь состояла именно из таких утр. Вот он, свободный и независимый. Вот он, Панкин, каким только и надлежало быть, — знающий себе цену и не повторяющий ошибок. Как это верно, что умные люди учатся на чужих ошибках. Он еще чист, молод и здоров, и если было что ценить, то, наверное, именно это.

Качало. Жутко и весело было смотреть на кромку горизонта, то низвергающуюся, то взлетающую над носом теплохода. На солнце вспыхивали пенные гребни волн — казалось, это по всему морю играют, переворачиваясь бело-серебристым брюхом вверх, огромные рыбы. Видны были серые плоскости береговых скал, опоясанных прибоем. Даже отсюда различалось его шевеление и временами чудился его грохот. Особенно здорово было на верхней палубе — рябило в глазах от тысяч вспышек, перехватывало дыхание от ветра и обмирало сердце, когда сверху наваливался горизонт, а теплоход, казалось, падал в пучину...

Многих мутило и они свешивались за борт. А Панкину было хоть бы что. С таким вестибулярным аппаратом хоть в моряки иди. Но воды Панкин боялся и плавать не умел. Однажды, лет десять назад, он чуть не утонул — точнее, все же утонул, потому что его, бездыханного, вытащили и откачали, сказав, что у него как бы второе рождение... Вот это и запало в память навсегда, и он часто думал, что останься он в первом рождении, и вырос бы совсем другим человеком, сильным и уверенным, без этой вечной оглядки на себя со стороны, как если бы на все, что он ни делал, требовалось разрешение...

Панкин исследовал все закоулки, постоял у спасательных лодок, приподняв брезент, заглянул внутрь и подумал, что здесь хорошо бы прятаться вдвоем.

Ко второй половине дня море успокоилось, закатный свет зацепил за выступы скал, обозначив их фантастический рельеф. Оранжевые плоскости пересекались наискось и сверху вниз синими впадинами фиордов, и там продолжалась игра цветов — лилового, фиолетового... Панкину виделись голые и мокрые стены, с гулким эхо от ударов волн и от криков бакланов, чаек, кайр... Даже из ресторана он продолжал следить за тем, что происходило за стеклом, в наружном мире, в прохладных пространствах земли, залитых вечерним солнцем, чувствуя, что самое главное и самое важное именно там, а не здесь, где пахло едой, сигаретным дымом и спиртным.

— Не помешаю? — раздался над Панкином молодой мужской басок, и Панкин кивнул, с сожалением отрываясь взглядом от скал. Спрашивавший, высокий и худой, шумно выдвинул стул и, усевшись, несколько раз подвигал его под собой, как пианист перед роялем. Он положил на стол большие увитые венами руки и миролюбиво поинтересовался:

— Из отпуска?

— В командировку, — ответил Панкин.

— А я из отпуска. Череповец — слыхал?

— Слыхал, — ответил Панкин.

— Не близко, согласен?

Панкин кивнул.

— Мне и Люська говорила: зачем на Север — вон в Сибири то ли дело! Или, там, Сахалин...

— Сестра? — спросил Панкин, чувствуя, что ему не отвязаться.

— Невеста моя. То есть бывшая невеста. Теперь-то она жена.

— Давно женат?

— Да не моя жена. В том-то и дело, что не моя. Была б моя, меня бы здесь...

— Понятно, — сказал Панкин, хмыкнув на всякий случай.

— Что понятно? — неожиданно вскипел его сосед. — Сволочь она, паскудная сволочь! Ну ладно... Что брать будем, или уже заказал?

На вид он был немногим старше Панкина, только поглядывал вокруг деловито, похозяйски, будто все, что он видел, было его собственностью.

Заказали триста "столичной", по жаркому, и после двух рюмок Панкин почувствовал себя равным всем окружающим, в том числе своему собеседнику, которого

звали Сергеем.

— Я думаю, из-за моей мамки Люська в бутылку полезла, — нещадно дымя сигаретой, рассказывал тот, наверняка, не в первый раз — "Только отдельно, говорит, жить будем — чтоб ни твоих, ни моих". А моих-то всего одна мамка... Ладно, говорю, будет тебе отдельная квартира и все такое... И за год, прикинь, заработал на первый взнос в кооператив. Да поздно — пока я пахал, она другого нашла, с квартирой... Ладно... На, говорю, тебе, мамка, на новый холодильник, на стиральную машину, на телик цветной... А остальное я спустил. Собрал всех корешей в ресторане и классно так оттянулись. А теперь вот обратно, сюда. Хотя деньги мне больше не нужны. Просто чтобы подальше от этой... Выпьем за холостяков. Или женат?

Панкин помотал головой.

Выпили.

— А хороша была Люська, — выдохнув, продолжал Сергей. — Грудь... бедра... Я ведь у нее первый. Только вот как все вышло...

— Ничего, найдешь другую, — сказал Панкин. — Много их... — Ему хотелось казаться опытным и бывалым.

— Найду? — вдруг рассердился Сергей. — А ты нашел?

— А что искать — они сами... — многозначительно хмыкнул Панкин.

— Значит, не нашел. Я тут год жизни отдал, а она мне: "Сереженька, возьми себя в руки..." Шалава...

Помолчали.

После таких историй в Панкине все больше крепло убеждение, что открытые душевные отношения с женщинами невозможны. Что тут нужны определенные правила игры, тактика и стратегия — ну, как в шахматах. И пока не научишься, нечего и лезть. Этим он отчасти и оправдывал свою затянувшуюся невинность. Хотя еще в детдоме мог прекрасно ее лишиться, была у них девчонка, которая всем давала. Да и не она одна. Но не о таком он мечтал.

Сергей снова наполнил рюмки — выпили, затем он, демонстративно отодвинув пустую рюмку, словно не собираясь больше пить, сказал:

— Я, понимаешь, как возвращался сюда, на Север, почувствовал, что вот... В общем, — потер он переносицу, — стихотворение я написал, большое. Никогда не писал, а тут что-то нашло... Стихами интересуешься?

— Вроде того, — сказал Панкин, — читаю иногда... Есенин, Евтушенко...

— Ну, я не Евтушенко... Но у меня все правдиво, как оно в жизни... Послушаешь?

— Давай, — сказал Панкин и, подперев щеку, уставился в графинчик на столе. Ему было лестно такое доверие.

Сергей шумно прокашлялся и негромко, чтобы с соседних столиков не слышали, начал:

*Я замерз. Ододел меня холод
Сморицил кожу от пяток до лба.
Шею в плечи вогнал — вот хохот.
Что ж, дразжайший, дальше долбай.*

— Слышно? — спросил он.

— Читай, читай, — сосредоточенно закивал Панкин.

*В знак вопроса меня изогни-ка,
Чтоб была голова, где живот.
До чего же хреново и дико
Там, где мох и черника живет.*

*Где царапает брюхо о сопки
Небо мокрое, где мошкара...
Но не буду скулить, вытру сопки -
Ведь придет и другая пора.*

*Будет тихо, спокойно и ясно,
Будет вечер, кафе и коктейль,
Схватит за душу джаз первоклассный...
"Эй, Серега, что скуксился? Пей!"*

*Буду пить, чтоб не вырвалось крика,
Пусть вином закупорится рот...
В том краю и хреново, и дико,
Если там тот Серега живет.*

Сергей замолчал и натянуто улыбнулся:

— Короче, там хорошо, где нас нет.

— Это понятно, — сказал Панкин, продолжая глядеть на почти пустой графинчик, — это правильно. — Стихотворение ему не понравилось.

— Ну как, годится? — спросил Сергей. — Ты скажи, если там рифмы не подходят — первое все-таки.

— Нет, рифмы у тебя хорошие, — сказал Панкин, решив, что лучше похвалить, чем пускаться в объяснения, но все же не удержался:

— Только я не понял — почему холод ты называешь "дрожащий"? Я бы...

— Там "дражайший", понимаешь? — страдая от чужой непонятливости, перебил его Сергей, — Дорогой, то есть.

— А! — протянул Панкин. — Тогда другое дело.

— А остальное как? — недоверчиво глянул ему в глаза Сергей.

— Остальное отлично!

— Правда?

— Правда!

— Ну, спасибо! — сказал Сергей. — Все-таки первое. Может, в газету послать? В журнал?

— Пошли, — сказал Панкин.

— Гонорар пополам, — засмеялся Сергей. — Мне деньги не нужны.

— Заметано, — сказал Панкин.

Хлопнули по рукам и допили что оставалось.

— Хочешь, тоже почитаю? — сказал Панкин.

— Своё? — ревниво спросил Сергей.

— Не пишу. Это чужое. Но хорошее.

— Валяй.

Панкин погасил сигарету и начал, смакуя каждое слово:

*Плывут облака
Отдыхать после знойного дня.*

*Стремительных птиц
Улетела последняя стая.*

*Гляжу я на горы,
И горы глядят а меня -*

*И долго молчим мы,
Друг другу не надоедая.*

Это было его любимое стихотворение.

— Кто написал? — не сразу спросил Сергей.

— Ли Бо. Был такой китайский поэт.

— Умер, что ли?

— Еще в восьмом веке.

— Врешь!

— Что? Точно в восьмом.

— Врешь, твои стихи.

— Не, — усмехнулся Панкин, — я бы так не смог. Это Ли Бо. Великий китайский поэт.

— А прочему по-русски?

— Это же перевод.

— А... — протянул Сергей... — Понятно... Тоже, небось, мужик один был?

— Этого не знаю, — честно сказал Панкин.

— Наверняка один, — вздохнул Сергей, — чувствуется... — Он тоже загасил сигарету и просветленно посмотрел на Панкина. — Знаешь, пожалуй, я не буду посылать свои стишки...

— Что так?

— Да так... Говно мои стишки. Думаешь, я не видел, как тебя перекосило. Так что нечего заливать. Тоже мне, басни Крылова... Запомни — полезной лжи не бывает. Это я тебе говорю.

За стеклами ресторана стемнело. Теперь он ничем не отличался от какого-нибудь городского, и было странно выйти не на улицу, а сразу уткнуться в мокрый борт, за которым шевелилось море.

— Что это? — удивился Панкин.

Там, где должны были быть лишь глухие скалы, покачивалась вверх-вниз веселая цепочка огней.

— Это... — впился глазами в огни Сергей — это... Ух ты, мать честная! — И ничего больше не сказав, он вдруг исчез, как сквозь палубу провалился. Только теперь Панкин понял, что теплоход стоит. Необычной была тишина, в ней слышно было, как обтекает палубные надстройки ветер, как внизу что-то тягуче поскрипывает и раздаются всплески волн. Необычной же всего были человеческие голоса — казалось, слишком громкие и чуждые морю, темно ходившему вокруг...

С корабля тревожно прокричала сирена, издали раздался ответный зов, и вскоре корабельный прожектор нащупал в темноте мотобот, тяжело вскидывавшийся против волн... Возле теплохода на нем заглушили мотор и он запрыгал в зеленых цвета бутылочного стекла волнах. С борта бросили конец, внизу его подхватили и осторожно подтянули бот к спущенному трапу. Через минуту люди были на палубе. Геологи, решил Панкин, вглядываясь в их обросшие бородами лица. Геологи гоготали и радостно похлопывали друг друга по спине — кто-то уже сказал, что бот чуть не перевернулся.

Сергей появился так же неожиданно, как исчез, в штормовке и с чемоданом.

— Эх, не договорили мы с тобой, — сказал он. — А то, может, тоже, а? — кивнул он в сторону берега. — За компанию, а? Не пожалеешь. Люди там нужны... Ну? — говорил он, держа Панкина за руку. — Стихи будем читать. А рыбы знаешь сколько — семужка... Ловить будем. А икра... знаешь какая икра?

— Я не люблю икру, — соврал Панкин.

— Эх ты, — протянул Сергей. — Ну ладно, будь!

Они обнялись и Сергей побежал к трапу.

— Кто же не любит икры? — обернувшись на ходу, крикнул он.

— Да не могу я, слышишь! — с отчаянием в голосе ответил ему Панкин, на мгновение вставив в себя сверкающий посыл другой жизни. — Не могу я! Груз у меня! Я ж говорил!

— У всех груз! — покачиваясь в мотоботе, пнул Сергей свой картонный чемодан. Его выматерили сядившиеся следом, и он стал неуклюже перебираться на корму.

— Ну, напиши хоть! — крикнул он, сложив рупором ладони. — Удальцов моя фамилия... Териберка...

Он еще что-то говорил, но его слова заглушил затукавший мотор, кто-то дернул Сергея, чтобы сел, мотобот тяжело развернулся и пошел в темноту. Снова на теплоходе рывкнула сирена и прожектор, скользя по воде, погас...

Панкин долго плескал на голову из крана в тесном железном гальюне, чтобы избавиться от хмеля, который из недавней приятности теперь превратился в помеху, и растирал уши — слышал, что это помогает. В каюте он достал из своего вещмешка расческу и, косясь на дверь горничной, тщательно, на пробор, причесал мокрые волосы. Стуча в эту дверь, он почему-то был уверен, что ему откроют, она откроет, горничная по имени Галя — так ее, оказывается, звали — но за дверью было тихо. Он постучал снова.

— Чего стучишь? — раздался за его спиной строгий голос.

Панкин оглянулся. Кроме него в каюте было человека три.

— Чего стучишь? — повторил кто-то, и Панкин столкнулся взглядом с пожилым старшиной. Тот сидел на нижней койке, держа на коленях мундир — начищал пуговицы, загнав их в пластмассовый трафарет.

— Нет там никого, — сказал старшина.

— Как нет? — растерялся Панкин. — Галя, тут Галя должна быть, горничная...

— Ушла твоя Галя, — сказал старшина.

— Как ушла? — спросил Панкин, понимая, что это вовсе уж бессмысленный вопрос.

— Ушла, — пожал плечами старшина. — Приходил тут один, вроде тебя. С ним и ушла. Проспал, брат...

Станный это был вечер. Повсюду в слабом палубном освещении виднелись парочки. Панкин торопливо проходил мимо них, замирающих при его появлении, и отлично представлял себе, что происходит затем за его спиной. Даже геолога он узнал — из тех, кто недавно поднялся на борт — и тот уже кого-то нашел. Обняв свою подружку так, что его кисть уходила в вырез ее кофты, геолог ворковал бархатным, как у диктора ночной радиостанции, рокотком, и она, крепко держа другую его руку, угнездившуюся на обтянутом юбкой бедре, сдержанно кивала... Панкин поднялся на верхнюю палубу. Здесь было почти совсем темно. Из тьмы смутно выступали свежеевыкрашенные борта шлюпок. С одной из них свешивался брезент, и край его свободно раскачивался. Панкин протянул руку, чтобы водворить брезент на место, и тут же отдернул ее. В шлюпке кто-то был — оттуда слышалась возня и хихиканье.

Казалось, все вокруг нашли друг друга. Кроме него. А он почему-то так и остался посторонним на этом празднике радости, желаний, душевного и телесного тепла. Осознавать это было больно. Стараясь неслышно ступать по гулким металлическим ступенькам лестницы, Панкин спустился на главную палубу и отправился на корму. Там было пусто. Флаг на флагштоке был недвижим — разве что только изредка пошевеливался, будто просыпаясь на миг. Панкин сел рядом на лавку. Часы показывали полночь. Небо было в звездном дыму. Казалось, звезды покрывают его в несколько слоев и каждый слой медленно качается относительно другого. Так же медленно качалось море, словно отодвигаясь от кормы, за которой мерцал млечный след теплохода. Далеко на

берегу мигало в одиночестве несколько огней, не больше трех-пяти на все видимое пространство тьмы. Опознавательные знаки земли, суши. За ними лежала она сама. И на ней спали люди. Спали или обнимались и любили друг друга. Они были там — все с одной стороны, а с другой, до самого полюса — ни души.... Кто же он сам, Панкин? И где? Почему он вырван из круга жизни, сцепившего вместе миллионы людей? Почему он один? Что в нем не так? Панкин свесился за борт возле флага, глядя, как внизу бесшумно и непрерывно ткется пенная кружевная пелена, растворяясь во тьме — словно это сама жизнь рождалась на его глазах в неповторимом разнообразии узоров, каждый из которых был как символ чего-то. Да, это была книга жизни, точнее ее непрерывно развертывающийся бесконечный свиток — но эти узоры, эти символы, эти рождающиеся как бы из ничего знаки Панкин не мог прочесть. Он подумал, что если прыгнуть с кормы, то никто и не заметит. А если его хватятся, то не раньше, чем в Гремихе, при разгрузке... Видение собственной смерти нахлынуло на него, захватив целиком, но тут же ушло. Край флага снова шевельнулся и скользнул по его щеке. Прикосновение было почти живым. На глазах Панкина выступили слезы. Ему стало жалко себя, а потом противно, что он такой. Тыльной стороной ладони он вытер слезы и медленно пошел вдоль борта, словно еще надеясь кого-то встретить на пути.

Никто не встретился. Панкин постоял на носу, глядя вниз, где из темноты по правому борту рождался серый пенистый вал. Казалось, что корабль забирает все вбок и вбок, совершая круг, но круг слишком большой, чтобы это обнаружилось. Все в мире движется по кругу, — вдруг подумал Панкин, и это было для него как открытие какого-то важного закона жизни. Важного и утешительного.

Несмотря на открытые иллюминаторы, в каюте было душно. Пенки разделся и лег.
— Ты где шлялся? — раздался сбоку тихий голос.

Панкин приподнял голову и увидел знакомого старшину. Тот отложил фонарик, которым подсвечивал себе страницы книги, и кивнул на дверь горничной:

— Только ты ушел, она и вернулась. Одна между прочим...

В Гремиху прибыли утро. Заскрипела стрела судового подъемника, уныло застонала лебедка, по палубе деловито застучали сапоги солдат — разгружали что-то военное... С его собственным грузом не было никаких осложнений — сдал, принял, подпись... Маленький бойкий начальник метеостанции, бросив Панкину: "Знаю, знаю", уже не отходил от своих ящиков — вместе с двумя помощниками суетливо докатил их на тележке до автомашины, опустив борт, угнездил в кузове и сел сверху для верности. Машина медленно поползла мимо серых приземистых строений по каменистому подножию сопки, начальник закачался из стороны в сторону, и Панкин помахал ему вслед. Тот не ответил, озабоченный своим грузом.

Спальная каюта снова опустела — посадка ожидалась через три часа. Над иллюминаторами на потолке вились отраженные водой солнечные блики. Галя наводила чистоту. Панкин стоял в проходе, облокотившись на верхние койки, и молча следил за ней. Ему казалось, что теперь он свободен от мыслей о ней и потому имеет право вот так, не скрываясь, смотреть на нее. И что он в ней нашел, что нашел в ней тот рыжий? Крупные бедра и груди, скуластое маленькое лицо, чуть приплюснутый нос с тонкими, словно нервными, ноздрями... Неуклюжая грация... Еще пара лет и ее разнесет... Короче, сплошные недостатки, однако все вместе это почему-то обладало для него и, ясно, что не только для него одного, какой-то привлекательностью. От слова привлечь — вдруг подумал он. Да, хотелось ее привлечь, прижать к себе, прижаться, а там...

Его навязчивое присутствие, казалось, нимало не заботило ее. По крайней мере, деловито отрешенное выражение на ее лице не менялось, когда она поднимала на Панкина

глаза. Она долго не появлялась в проходе, где он стоял, но деться ей было некуда, и наконец она стала медленно приближаться, плавно и мягко вода перед собой шваброй с намотанной на нее мокрой тряпкой. Она была в рабочем халате и, когда нагибалась, Панкин видел верхний край ее розовой сорочки. Сорочка была свободной, и в провисающем вырезе приоткрывались груди, их затененная в ложбинке млечная тяжесть. Все ее тело жило, шевелилось перед ним. Когда она оказалась совсем рядом, так что он вошел в облако ее телесного тепла, он вдруг с отчаянной решимостью сделал шаг вперед и схватил ее за локти.

— Пусти, — спокойно и даже терпеливо сказала она, глядя вниз, под ноги.

— А если не пущу, — услышал он свой голос.

В следующий момент Панкин осознал, что падает, и действительно упал, крепко и больно приложившись затылком об пол. Кажется, она его толкнула. Он тут же поднялся на ноги, чтобы показать свою удаль, но пошатнулся и ничего вокруг не увидел. Каюта словно наполнилась паром.

— Господи, что с тобой? — услышал он рядом испуганный голос Гали. — Господи, убила...

— Ерунда, — провел он рукой по лицу, — сейчас пройдет...

— Ты посиди, посиди, — услышал он и сел, ведомый руками Гали. — Вот шалопут. Еще пацан, а туда же...

— Какой я пацан, — слабо улыбнулся он, отмечая ее теплую мягкую тяжесть рядом с собой, — двадцать мне. Вряд ли тебе больше... Доказать?

Он наощупь вынул из нагрудного кармана паспорт и протянул ей. Ее лицо постепенно прорезалось перед глазами сквозь туман.

— Двадцать!? — Прыснула она в руку. — А я-то думала — из молодых да ранний... Что же ты такой гладенький, как девочка. И усы не растут...

— Растут, — обиделся он. — Бреюсь через день.

Остаток дня Панкин провел в вялом оцепенении. Ничего не болело, несмотря на изрядную шишку на затылке, однако он чувствовал себя разбитым. Каюту, ресторан, салон, палубу наполнили новые пассажиры, но его никто больше не интересовал. Теплоход медленно тащился обратно в виду скалистых берегов. В сумерках кое-где на них снова зажглись огни, небо же было беззвездным. Спать он лег рано в твердой уверенности, что за полночь проснется и постучится к Гале. Она его теперь, конечно, пустит. Не может не пустить.

Спал он крепко, без снов...

Теплоход стоял в метрах пятистах от поселка Териберка. Снова ждали знакомый мотобот. Он привез с берега целую команду морячков и заодно двух девушек, которым было явно не по себе в мужской компании, — только оказавшись на палубе, они перестали зависимо улыбаться. Задрожав всем корпусом, теплоход снова поплыл и, отставая от него, на взбаламученной воде закачались сброшенные с борта ящики из-под продуктов. Над ними кружились и галдели чайки.

— Сам жри и другим давай, — пошутил кто-то, но никто не засмеялся.

Панкину почему-то казалось, что на мотоботе будет и Сергей. Вот уже правда — только в ночи, только видя лишь огни Териберки, можно было решиться круто повернуть свою судьбу. И пока поселок со своими жалкими серыми домишками не скрылся вдаль, Панкину казалось, что где-то там, на берегу, стоит Сергей. Единственный человек, которому Панкин почему-то оказался интересен.

День, как и в начале путешествия, выдался чистый, солнечный, с глубокой четкой далью, и было странно ощущать в этом голубом освещенном пространстве холод, будто текущий из невидимых щелей. Он тек с севера, оттуда, где за выпуклой гранью воды

стоял вечный лед...

По сравнению со вчерашним днем Панкин чувствовал себя абсолютно здоровым. Он со вкусом пообедал, выпил стакан портвейна и пошел разыскивать Галю. Вчерашнее происшествие несомненно сблизило их, хотя и не так, как ему мечталось. Галя стояла возле камбуза у борта и глядела перед собой — на море, хотя Панкину показалось, что моря она не видит, думая о чем-то своем.

Панкин подошел и встал рядом. Она оглянулась не сразу, и Панкин понял, что она ожидала увидеть не его.

— Надо еще чего? — с иронией спросила она.

— Что, нельзя постоять? — сказал он.

— Постой, — пожалала она плечом, — если недолго. Голова прошла?

— Прошла, — сказал он.

— Ну и слава богу! — сказала она.

Ясно, что дальше стоять рядом было глупо, но он почему-то был не в силах уйти.

— Послушай, — с трудом начал он, понимая, что делает себе только хуже. — Я давно хотел тебя спросить. Только ты не подумай.... Просто так, любопытство... Этот парень, рыжий такой.... Ты с ним, да?

Вечером, в узком боковом проходе, кто-то, выйдя из темноты, заступил Панкину дорогу. Панкин сделал шаг в сторону, но тут же почувствовал на своем плече руку. Это был рыжий.

— Пойдем поговорим? — сказал он.

— Зачем? можно и здесь, — неубедительно дернулся Панкин.

— Не бойсь, бить не буду, — подталкивал его перед собой рыжий. — Ну, — развернув так, что Панкин оказался унижительно прижатым к железной стенке, выдохнул он. — Докладывай.

— Чего докладывать? — сказал Панкин.

— А все! — приблизил лицо рыжий. Он был трезв и серьезен. От его одежды пахло машинным отделением. Через щеку тянулась темная полоса мазута. Он ухватил Панкина за ворот рубашки. — Что там у тебя с Галкой?

Панкин зажмурился как в ожидании удара и неожиданно для себя заорал:

— А ну пусти!

Рыжий выпустил его и, оглянувшись, тут же снова схватил за ворот:

— Говори, что?

— Пусти! — снова выкрикнул Панкин, чувствуя себя правым и потому не боясь.

— Цыплаков? — раздался во тьме мужской голос. — Ты что там затеял? А ну отбой!

Рыжий резко отстранился и, демонстративно, сунув руки в карманы, отозвался:

— Да иду, иду! Перекурить не дадут.... Твое счастье... — бросил он шепотом через плечо. — А еще раз с Галкой увижу — крабов кормить будешь...

В спальной каюте собрались все новоприбывшие морячки. Они сидели в круг, заняв два яруса коек, и негромко пели. Тон задавал стройный, ладный морячок, игравший на гитаре. Голос у него был чистый, вытягивающий даже самые высокие ноты. Звучал он так, что у Панкина перехватывало горло от ощущения чего-то близкого, сокровенного — от ощущения родства. Это пели его одноклассники, двадцатилетние мальчишки. Пели задумчиво и в то же время весело и беспечно, словно знали, что жизнь, какой бы она ни казалась, на самом деле принадлежала именно им и никому больше — была их сестрой, подружкой, невестой.

Ничего так Панкину не хотелось в тот момент, как быть вместе с ними...

Проснулся он ночью от какого-то звука, похожего на всхлип или плач. Кругом было тихо, все спали. Он посмотрел на слабо освещенную дежурной лампочкой дверь, за которой была Галя, и решил, что почудилось. Но тут же кто-то опять тихо всхлипнул, и вслед за тем раздался торопливый шепот. Повернув голову, Панкин разглядел в дальнем конце каюты двоих на нижней койке. Он сразу узнал их — это были морячок-гитарист и одна из тех двух девушек, что сели в Териберке. Он запомнил ее в белом пуховом платке — теперь же ее волосы были распущены, лежали прядями на голой спине и плечах. Она придерживала одеяло на груди, и морячок вытирал ее слезы. Затем, порывшись, морячок достал сигареты и спички. У него были тонкие мальчишеские руки. Девушка взяла у него спички и, чиркнув, поднесла колеблющийся огонек к сигарете в его губах. Огонек высветил два профиля — они поразили Панкина своей схожестью. Морячок жадно затянулся, а спичка погасла. Они тихо говорили, вернее, говорил морячок, а она послушно кивала, опуская голову все ниже и ниже, будто под бременем слов, потом как бы через силу поднимала — это походило на возражение — и снова горько клонилась долу.

Опять проснувшись, Панкин взглядывал в их сторону, видел, что они лежат вместе, переводил взгляд на дверь, за которой спала Галя, может быть, тоже не одна, и странная жалось к ней, к ним и к самому себе теснила его. Он засыпал, но и во сне испытывал эту протяженную жалость, и снилось ему одно и то же: будто он стоит на берегу, а мимо с потушенными огнями проходит корабль, и почему-то море движется вместе с кораблем, будто приклеенное, будто оно с ним — одно целое, как на фотографии.

Его разбудил топот и громкие отрывистые голоса. В глаза бил резкий свет всех включенных в спальном помещении ламп. Панкин глянул на иллюминаторы — за ними было темно. Часы показывали шесть утра.

— А ну, живо, братва! — кричал кто-то невидимый сверху в открытую дверь. — Североморск!

Панкин встал, оделся и вышел на палубу. Слабый синий рассвет поднимался над черной грядой сопок. У подножия этой гряды лежали мокрые желтые огни. Огней было неожиданно много. В Североморске он еще не бывал — закрытый город... Он видел улицы, по которым плыли фары машин, пятиэтажные дома — вполне благоустроенное человеческое жилье, рядом с базой боевых кораблей, будто, люди живущие здесь, были уверены, что надежно защищены на все случаи жизни... Родителей своих Панкин не знал, зато знал, что до детского дома он жил в яслях и еще знал, что родился в Ваенге, по соседству с Североморском — так записано в его паспорте. Это и было его родословной. Уже став совершеннолетним, он, приглядываясь к судьбам других людей вокруг, решил для себя, что скорее всего и его отец был военным, то есть моряком, и скорее всего погиб при выполнении боевого задания. Иначе рано или поздно он бы нашел своего сына. Ведь фамилия Панкин, ему говорили, у него настоящая, отцовская. А мать... Матери он не чувствовал и не представлял себе — она без памяти и любви растворилась в этом мире. Или вовсе ушла из него после гибели мужа...

Кроме него и морячков, один за другим выскакивавших на палубу и застегивавших на бегу бушлаты, никого не было. Внизу уже покачивался подошедший баркас. Неожиданно в стороне за трубой вентилятора Панкин увидел девушку, ту самую, что и ночью в каюте. Держа концы наспех накинутого на голову пухового платка, она неподвижно смотрела в сторону баркаса. Поискав глазами, Панкин нашел среди копошившихся фигурок стройного морячка с закинутой на спину гитарой... Он еще стоял и смотрел в сторону теплохода — на девушку.

Они прощались, может быть, навсегда, и, похоже, Панкин был единственным свидетелем, а значит, и соучастником этого прощания. Наконец баркас двинулся к берегу, но девушка и морячок так и продолжали смотреть друг на друга, пока хоть что-то оставалось различимо...

Первым не выдержал этого расставания сам Панкин. Он направился к девушке, точнее — мимо нее, чтобы хотя бы заглянуть ей в лицо. Хотя бы мельком.

Вдруг в нем вспыхнуло, что, возможно, именно так было и с его матерью... Вспыхнуло и прошло.

1974, 2011